

Николай Михайловский

Русское отражение французского символизма



Николай Михайловский

**Русское отражение
французского символизма**

«Public Domain»

1887

Михайловский Н. К.

Русское отражение французского символизма / Н. К. Михайловский —
«Public Domain», 1887

ISBN 978-5-457-13109-5

«Я отнюдь не думаю защищать русскую литературу от нападков г. Мережковского. Напротив, многое я выразил бы гораздо резче, но со многим, конечно, согласиться не могу...»

ISBN 978-5-457-13109-5

© Михайловский Н. К., 1887
© Public Domain, 1887

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	10
Комментарии	

Николай Константинович Михайловский

Русское отражение французского символизма

Только что вышла любопытная книжка г. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы». Собственно, этому заглавию соответствует только первая, меньшая половина книжки. Вторая половина состоит из статей о г. Майкове, о Гончарове и о «Преступлении и наказании» Достоевского, кажется, уже раньше где-то напечатанных и не имеющих прямого отношения ни к причинам упадка литературы, ни к ее новым течениям. Возможно даже, что они введены автором в состав книжки единственно для пополнения ее до требуемого цензурным уставом десятилистного размера. Во всяком случае, интерес книжки не в них. Что же касается ее главного содержания, то оно составилось из публичной лекции, читанной г. Мережковским в конце прошлого года. Лекцию эту он через некоторое время повторил^[1] и теперь напечатал, с довольно, по-видимому, значительными дополнениями. Перед нами, значит, произведение обдуманное, автор которого имел достаточно даже чисто внешних поводов для пересмотра и проверки своих мыслей. А ведь есть еще поводы внутренние, вытекающие из сознания важности предмета, о котором идет речь. И г. Мережковский вполне сознает эту важность. Он высоко ценит роль и значение литературы и любит ее настоящею, искреннею любовью. Для него, как он обнаруживается в своей книжке, литература не ремесло и не арена праздной забавы или игры самолюбий, а великое общественное дело, поприще служения высшим человеческим идеалам.

Тем не менее, нисколько не сомневаясь в искренности и добрых намерениях г. Мережковского, можно смело утверждать, что он не воспользовался или очень мало воспользовался представлявшимися ему поводами для пересмотра и проверки своих мыслей.

В книжке не раз попадаются замечания такого рода: «Сущность искусства нельзя выразить никакими словами, никакими определениями» (32). Или: «Идею символических характеров никакими словами нельзя передать» (43). Без всякого сомнения, слово, как и все, что находится в распоряжении человека, ограничено известными условиями. Слова суть только условные знаки идей, вещей и отношений. Но ведь и мысль человеческая поставлена в известные рамки, за пределы которых никаким образом не может выскочить, не свихнувшись, не изменив себе. Правда, рамки эти несравненно шире тех, в которые заключено слово, почему людям и приходится писать иногда целые страницы для выражения одной какой-нибудь мысли. Но весьма часто бывает, что мысль не потому трудно облачается в словесную форму, что нельзя найти слов для ее выражения, а просто потому, что она не созрела для словесного выражения, не выяснилась. И мне кажется, что мысль г. Мережковского очень часто находится в таком положении.

Книжка г. Мережковского начинается очень эффектно. Вот ее первые строки: «Тургенев и Толстой – враги. Это вражда стихийная, бессознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайных обстоятельств, благодаря которым вражда выяснилась. Но вместе с тем оба чувствовали, что они враги не по своей воле, а по своей природе. Оба, в своем различии столь близкие и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые друг против друга как великие представители двух первоначальных, вечно борющихся человеческих типов». И тем не менее, дескать, Тургенев перед смертью написал Толстому свое известное глубоко трогательное письмо^[2], увещавшее «великого писателя русской земли» вернуться на путь литературной деятельности: «на краю гроба Тургенев понял, что сердцу его старинный враг – ближе всех друзей». Можно бы было, на основании фактических данных, доказать, что собственно Тургенев, несмотря на ссоры с Толстым и на

всю личную неприязнь к нему, всегда высоко ценил автора «Войны и мира» как писателя. Но дело не в этом. Я прошу читателя обратить внимание на «стихийность», которую г. Мережковский приписывает неприязненным отношениям Тургенева и Толстого: это – «представители двух *первоначальных, вечно борющихся человеческих* типов», это – «враги не по своей воле, а по своей *природе*». Значит, где бы и когда бы ни столкнулись два такие человека – в России или в Китае, в Англии или во Франции, в XIX или в любом другом веке, – они фатально, «стихийно» станут во враждебные друг к другу отношения. Пусть эта мысль произвольна, бездоказательна, но какова бы она ни была сама по себе, она выражена вполне ясно.

Вслед за тем г. Мережковский старается установить разницу между поэзией и литературой. Суть этих торопливых и сбивчивых рассуждений состоит в том, что отдельные явления в области поэзии, хотя бы и чрезвычайно светлые и далеко из ряда выходящие, еще не знаменуют собою существования литературы данного народа. Начиная с Пушкина, Лермонтова, Гоголя и кончая еще живым Толстым, мы можем предъявить миру гигантов поэзии, но «была ли в России истинно великая литература, достойная стать наряду с другими всемирными литературами?» Нет, отвечает г. Мережковский. Литература невозможна без тесного взаимодействия между ее представителями, без сознания общности дела и преемственной связи. Например, во Франции «стихийные разрозненные явления поэзии вот уже три века превратились в стройную, могучую систему, как некогда в Греции, как живопись во Флоренции, благодаря преемственности целых литературных поколений, объединенных всемирно-историческим началом» (6). А у нас? Наш писатель живет и умирает в одиночку. Если и слагаются иногда литературные кружки, то, во-первых, они недолговечны и не выдерживают первого враждебного дуновения, а во-вторых, они часто бывают еще хуже одиночества. Русскому писателю не хватает «той живой, терпимой и всепримиряющей среды, того культурного воздуха, где противоположные оригинальные темпераменты, соприкасаясь, усиливают друг друга и возбуждают к деятельности». В виде иллюстраций г. Мережковский напоминает, между прочим, враждебные отношения Достоевского к Тургеневу, Некрасова и Щедрина к Достоевскому, Тургенева к Некрасову и заканчивает этот абзац так: «О печальной и *столь характерной для русской литературы* вражде Толстого и Тургенева я говорил уже в начале статьи» (8).

Читатель знает, что в начале статьи г. Мережковский говорил совсем не то. Там враждебные отношения двух знаменитых наших писателей являлись продуктом «стихийных» сил, а не особенностью наших культурных условий, там мы имели дело с «представителями первоначальных (?), *вечно борющихся человеческих* типов», и, следовательно, отношения их никак не могут быть «столь характерны для русской литературы» специально. А между тем эти два взаимно исключаящие положения г. Мережковского отделены друг от друга всего семью страничками. И если первое положение произвольно и бездоказательно, то второе, может быть, еще произвольнее и бездоказательнее.

В самом деле, даже оставляя в стороне проблематическую вечную борьбу человеческих типов, – почему бы мы должны признать характерным для русской литературы явлением вражду Тургенева и Толстого, а не трогательное предсмертное письмо Тургенева? Едва ли литература всех стран, времен и народов знает много таких писем, а враждебных отношений между талантливыми современниками можно указать сколько хотите. Г-ну Мережковскому угодно, в пику русской литературе, излагать в двадцати строчках историю французской литературы как стройный, спокойный, трехвековой процесс. В двадцати строках это можно сделать, а, пожалуй, даже иначе и нельзя сделать. Но если бы г. Мережковский вздумал отмечать в истории французской литературы эпизоды, аналогичные неприязненным отношениям Толстого и Тургенева и т. п., то двадцати строк оказалось бы очень мало. Напомню, например, общеизвестные отношения Руссо и Вольтера и энциклопедистов^[3],

предоставляя г. Мережковскому отнести их на счет вечной борьбы противоположных человеческих типов, или особенностей французской литературы, или, наконец, особенностей конца XVIII века. О настоящем положении французской литературы г. Мережковский говорит: «мы присутствуем при первых неясных усилиях народного гения найти новые творческие пути, новые сочетания жизненной правды с величайшим идеализмом». Из дальнейшего изложения видно, что автор понимает под этими «усилиями народного гения» так называемое декадентское или символистское движение. И выходит так, как будто символисты и декаденты, с одной стороны, дружно, а с другой – не встречая противодействия в старших литературных поколениях, спокойно занимают свое место в истории. На самом деле ничего подобного нет. Г-н Мережковский ссылается в одном месте на книгу Гюре «Enquête sur l'évolution littéraire»^[4]. Эта книга составилась из шестидесяти с лишком бесед автора с разными французскими писателями о современном положении французской литературы и о школах, на которые она распадается. Не все, однако, к кому обращался Гюре, беседовали с ним устно. Некоторые удовлетворялись письменными ответами на его вопросы. В том числе был и Ришпен^[5]. Он отказался высказать свое мнение о различных школах и их представителях, и сообщил только, что осуществление предпринятой Гюре enquête производит на него удручающее впечатление: точно говорит смрадное болото, в котором, под ногами у нескольких быков, множество лягушек надувается и квакает: «moi, moi, moi!»¹ Приговор суровый, но довольно близкий к истине. Никогда, может быть, французская литература не была так раздражаема разными школами, и никогда, может быть, обнаженные и взаимно враждебные я не играли в ней такой роли. Самая enquête Гюре подала повод к полемическим схваткам, из которых одна едва не окончилась дуэлью...

Эта несостоявшаяся дуэль (между Леконтом де Лилем и Анатолем Франсом) – явление столь обычное во Франции – не наводит г. Мережковского ни на соображения о вечно борющихся человеческих типах, ни на скептические мысли о французской литературе; тогда как такая же несостоявшаяся дуэль между Тургеневым и гр. Толстым фигурирует в числе опор его тезисов. Конечно, и поводы, и обстановка этих двух несостоявшихся дуэлей очень различны. Но дело в том, что, говоря о неприязненных отношениях между некоторыми нашими крупными писателями, г. Мережковский или совсем не останавливается на их причинах, или довольствуется слишком простыми и голословными соображениями. Между тем это дело очень сложное. Неприязнь и вражда могут вытекать из чисто принципиальных источников: люди расходятся в дорогах для них убеждениях, и каждый из них столь крепко держится за свое, что никакое общение между ними невозможно. С другой стороны, люди вполне единомыслящие могут не сходиться характерами. Прибавьте сюда разные человеческие слабости, вроде самолюбия, зависти, подозрительности, прибавьте разные чисто житейские столкновения, – и вы получите пеструю картину, вполне возможную и во Франции, и в России. И как она не помешала существованию французской литературы, так не помешает и русской литературе, хотя многие подробности ее, разумеется, очень прискорбны.

Я отнюдь не думаю защищать русскую литературу от нападок г. Мережковского. Напротив, многое я выразил бы гораздо резче, но со многим, конечно, согласиться не могу. Оставляя в стороне нападки автора на отдельные определенные личности, представляющиеся ему зловерными, возьмем такое, например, его обвинение общего характера: «Литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем где бы то ни было. Какие лица! Какие нравы! И ужасно, что эти лица самые молодые, бодрые, полные надежд. Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзия – самое воздушное и нежное из всех созданий человеческого духа, все более и более передается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму!» Признаюсь, я не знаю, о ком здесь идет речь.

¹ «Я, я, я!» (фр.) – Ред.

Г-н Мережковский говорит так решительно, что ему, конечно, близко знакомы какие-нибудь яркие случаи этой мерзости. Но как бы ни был велик запас его наблюдений в этом роде, я не думаю, чтобы он имел право сказать, что «литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем где бы то ни было». Всякие отдельные случаи возможны, но как бы они ни были омерзительны, от них еще далеко до той картины литературной продажности и хищничества, какая разворачивается в настоящую минуту во Франции, в Италии, в Германии. И это не потому, чтобы русские писатели были как-нибудь по самой природе своей необыкновенно добродетельны. Может быть и так, но существует и гораздо более простая причина, та именно, что русская литература не представляет собою такой общественной силы, которую, как европейскую литературу, стоит покупать. Давление, оказываемое русскою литературою на русскую жизнь, слишком ничтожно. Конечно, эта гарантия не особенно лестная и не особенно прочная, но факт остается фактом: в настоящее время упрек г. Мережковского несправедлив, или по крайней мере преувеличен, а будущее до известной степени в наших руках. Чего-нибудь да стоит урок, преподаваемый нашей литературе теперешними европейскими скандалами, и можем же мы надеяться, что нечистые руки никогда не захватывают русскую литературу вконец.

Надо, однако, заметить, что если европейская – скажем, в частности, французская литература – сильна на зло, то она сильна и на добро. Русская же литература бессильна и в этом отношении. И конечно, это практическое бессилие есть один из симптомов, а вместе с тем одна из причин упадка литературы, хотя г. Мережковский ее и не понимает. Он говорит о скуке, господствующей в литературной среде. Еще бы! Как тут не быть скуке и унынию, если мысль с трудом находит себе словесное выражение, а слово отделено от дела непроходимую пропастью.

Впрочем, хотя «причины упадка современной русской литературы» и значатся в заглавии книжки г. Мережковского и, следовательно, должны бы составлять один из пунктов его особого внимания (другой такой же пункт – «новые течения»), но довольно трудно разобратся в его взглядах на этот предмет. Да простится мне вульгарное сравнение, мысль г. Мережковского скачет как блоха: направление, быстрота и вообще характер этих скачков имеют, может быть, свои внутренние резоны, но, глядя со стороны, невольно поражаешься их какою-то капризною неожиданностью и несуразностью.

Поговорив о скуке, господствующей в литературных кружках и редакциях, г. Мережковский делает ничем не мотивированный скачок к цитате из тургеневских «стихотворений в прозе» о мощи русского языка, а отсюда опять скачок к такому положению: «Три главные разлагающие силы вызывают упадок языка». Хотя, таким образом, вместо разговора об упадке литературы мы имеем разговор об упадке собственно языка и хотя автор не трудится указать связь и отношение этих двух упадков, но по крайней мере он пробует говорить с точностью, он выставляет даже цифру: *три* разлагающие силы. В добрый час! Но, перечислив свои *три* разлагающие силы (мы их сейчас увидим), г. Мережковский неожиданно заявляет: «...*Другая* причина упадка литературы – система гонимых». Читатель с недоумением оглядывается: а где же первая? или почему это не четвертая? Затем *оказывается, что главная*, хотя никакой цифрой не отмеченная, причина упадка литературы есть «критика», причем самые сильные удары автор направляет на гг. Протопопова, Скабичевского, Буренина и Волынского. Но еще немного далее мы узнаем, что у нас есть превосходные критики в лице гг. Андреевского и Спасовича, а следовательно, огульный приговор русской критике надо взять назад: что навредили дурные – исправили или исправят хорошие. Ведь и в беллетристике у нас не все Тургеневы и Толстые, и в собственно поэзии не все Пушкины и Лермонтовы.

Оказывается, однако, что и первая по счету причина упадка есть опять-таки все та же критика. Дело в том, что «еще Писарев ввел особый иронический, почти разговорный

прием». Но язык Писарева был «сжат» и «увлекательно силен», а его преемники усвоили себе только дурные стороны его языка. Таким образом, причиною упадка литературного языка оказывается то, что литераторы стали дурно писать... Нельзя сказать, чтобы это рассуждение было очень блистательно в смысле логики. А между тем и вторая причина упадка совершенно такова же. Она заключается в той «особенной сатирической манере, которую Салтыков называл рабым эзоповским языком»^[6]. Словом, дурной язык есть причина дурного языка: скачок куда-то в стороны и потом опять назад, на старое место... Наконец, третья приводимая г. Мережковским причина упадка литературы (или литературной речи) состоит в невежестве, все более и более вторгающемся в литературу. С этим я спорить не стану, но думаю, что у этой причины есть свои причины, которых г. Мережковский, к сожалению, не коснулся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Лекцию эту он через некоторое время повторил... – Лекцию Мережковский прочел в 1892 г., издал ее отдельной книгой, а затем повторил издание в 1893 г., добавив названные выше статьи.

2.

После несостоявшейся дуэли в 1861 г. отношения между Толстым и Тургеневым прервались на 17 лет. В 1878 г. Толстой первый прервал многолетнее молчание, отправив Тургеневу письмо, которое заканчивалось так: «Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одно только благо – любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся». Тургенев отвечал: «...С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами дружескую руку». Михайловский имеет в виду письмо от 9 июля 1883 г., в котором Тургенев, в частности, писал: «Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре... Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником – и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Друг мой, великий писатель русской земли, внимайте моей просьбе!» См.: Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1. С. 178–179, 203.

3.

...общественные отношения Руссо и Вольтера и энциклопедистов. – Руссо порвал с энциклопедистами после того, как Д. Дидро, чтобы смягчить впечатление от его статьи «О политической экономии», опубликовал в энциклопедии статью П. Буланже под тем же названием. Вольтер расходился с Руссо и энциклопедистами в вопросе об отношении к религии.

4.

Об этой книге, изданной Ж. Гюре в Париже в 1891 г., Михайловский писал в предыдущей статье «Декаденты, символисты, маги и проч.»: «Гюре, сотрудник газеты „L'echo de Paris“, задался мыслью собрать мнения всех сколько-нибудь выдающихся писателей друг о друге и о школах, по которым они группируются. Он снял таким образом шестьдесят четыре вопроса (большую часть устных), из которых составилась чрезвычайно любопытная книга». См.: Рус. богатство. 1893. № 1

5.

В том числе был и Ришпен. – См. примеч. Икс. 532.

6.

...Салтыков называл рабым эзоповским языком. – В частности, в очерке «Зиждитель» (1874) из цикла «Помпадуры и помпадурши» Салтыков-Щедрин писал: «Скушное время, скушная литература, скушная жизнь. Прежде хоть „рабы речи“ слышались, страстные „рабы речи“, иносказательные, но понятные; нынче и „рабых речей“ не слышать». Выражение «эзоповский язык» идет от имени свободолюбивого раба Эзопа, вынужденного говорить иносказательно.